

Только это нашел я, что Бог создал человека
правым, а люди пустились во многие помыслы.

Екклезиаст 7: 29

I

То, самое важное в жизни, время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле.

Он не был дома много лет, и когда приехал, мать и сестра Лида почти не узнали его: чертами лица, голосом и манерами он изменился мало, но в нем сказывалось что-то новое, незнакомое, что созрело внутри и осветило лицо новым выражением.

Приехал он к вечеру и так спокойно вошел в комнату, как будто вышел из нее пять минут тому назад. В его высокой светловолосой и плечистой фигуре, со спокойным и чуть-чуть, в одних только уголках губ, насмешливым выражением лица, не было заметно ни усталости, ни волнения, и те шумные восторги, с которыми встретили его мать и Лида, как-то сами собой улеглись.

Пока он ел и пил чай, сестра сидела против него и смотрела, не сводя глаз. Она была влюблена в брата, как могут влюбляться только в отсутствующих братьев молодые экзальтированные девушки. Лида всегда представляла себе брата человеком особенным, но особенным именно той особенностью, которая с помощью книг была создана ею самою.

Она хотела видеть в его жизни трагическую борьбу, страдание и одиночество непонятого великого духа.

— Что ты на меня так смотришь? — улыбаясь, спросил ее Санин.

Эта внимательная улыбка, при уходящем в себя взгляде спокойных глаз, была постоянным выражением его лица.

И, странно, эта улыбка, сама по себе красивая и симпатичная, сразу не понравилась Лиде. Она показалась ей самодовольной и ничего не говорящей о страданиях и переживаемой борьбе. Лида промолчала, задумалась и, отведя глаза, стала машинально перелистывать какую-то книгу.

Когда обед кончился, мать ласково и нежно погладила Санина по голове и сказала:

— Ну, расскажи, как ты там жил, что делал?

— Что делал? — переспросил Санин, улыбаясь. — Что ж... пил, ел, спал, иногда работал, иногда ничего не делал...

Сначала казалось, что ему не хочется говорить о себе, но когда мать стала расспрашивать, он, напротив, очень охотно стал рассказывать. Но почему-то чувствовалось, что ему совершенно безразлично, как относятся к его рассказам. Он был мягок и внимателен, но в его отношениях не было интимной, выделяющей из всего мира близости родного человека, и казалось, что эти мягкость и внимательность исходят от него просто, как свет от свечи, одинаково ровно на все.

Они вышли на террасу в сад и сели на ступеньках. Лида примостилась ниже и отдельно и молча прислушивалась к тому, что говорил брат. Неуловимая струйка холода уже прошла в ее сердце. Острым инстинктом молодой женщины она почувствовала, что брат вовсе не то, чем она воображала его, и она стала дичиться и смущаться, как чужого.

Был уже вечер, и мягкая тень спускалась вокруг. Санин закурил папиросу, и легкий запах табаку примешивался к душистому летнему дыханию сада.

Санин рассказывал, как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить, как он принимал рискованное участие в политической борьбе и как бросил это дело, когда оно ему надоело.

Лида чутко прислушивалась и сидела неподвижно, красивая и немного странная, как все красивые девушки в весенних сумерках.

Чем дальше, тем больше и больше выяснялось, что жизнь, рисовавшаяся ей в огненных чертах, в сущности, была простой и обыкновенной. Что-то особенное звучало в ней, но что — Лида не могла уловить. А так выходило очень просто, скучно и, как показалось Лиде, даже банально. Жил он где придется, делал что придется, то работал, то слонялся без цели, по-видимому, любил пить и много знал женщин. За этой жизнью вовсе не чудился мрачный и зловещий рок, которого хотелось мечтательной женской душе Лиды. Общей идеи в его жизни не было, никого он не ненавидел и ни за кого не страдал.

Срывались такие слова, которые почему-то казались Лиде просто некрасивыми. Так мельком Санин упомянул, что одно время он так бедствовал и обносился, что ему приходилось самому починять себе брюки.

— Да ты разве умеешь шить? — с обидным недоумением невольно отозвалась Лида, ей показалось это некрасивым, не по-мужски.

— Не умел раньше, а как пришлось, так и выучился, — с улыбкой ответил Санин, догадавшись о том, что чувствовала Лида.

Девушка слегка пожала плечами и замолчала, неподвижно глядя в сад. Она почувствовала себя так, точно, проснувшись утром с мечтой о солнце, увидела небо серым и холодным.

Мать тоже чувствовала что-то тягостное. Ее больно кольнуло, что сын не занимал в обществе того почетного места, которое должен был бы занять ее сын. Она начала говорить, что дальше так жить нельзя, что надо хоть теперь устроиться хоть сколько-нибудь прилично. Сначала она говорила осторожно, боясь оскорбить сына, но, когда заметила, что он слушает невнимательно, сейчас же раздражилась и стала настаивать упрямо, с тупым старушечьим озлоблением, точно сын нарочно под-

дразнивал ее. Санин не удивился и не рассердился, он даже как будто и слышал ее плохо. Он смотрел на нее ласковыми безразличными глазами и молчал. Только на вопрос: «Да как же ты жить будешь?» — ответил, улыбаясь: «Как-нибудь!»

И по его спокойному твердому голосу и светлым немигающим глазам почувствовалось, что эти два для нее ничего не значащие слова для него имеют всеобъемлющий, определенный глубокий смысл.

Марья Ивановна вздохнула, помолчала и печально сказала:

— Ну твое дело... Ты уже не маленький... Вы бы пошли по саду прогулялись, теперь там хорошо.

— Пойдем, Лида, и в самом деле... Покажи мне сад, — сказал Санин сестре, — я уже и позабыл, как там.

Лида очнулась от задумчивости, тоже вздохнула и встала.

Они пошли рядом, по аллее, в сырую и уже темную зеленую глубину.

Дом Саниных стоял на самой главной улице города, но город был маленький, и сад выходил прямо к реке, за которой уже начинались поля. Дом был старый, барский, с задумчивыми облупившимися колоннами и обширной террасой, а сад — большой, заросший и темный, как темно-зеленая туча, прикипшая к земле. По вечерам в саду было жутко, и тогда казалось, что там, в чаще и на пыльных чердаках старого дома, бродит какой-то доживающий, старый и унылый дух.

В верхнем этаже дома пустовали обширные, потемневшие залы и гостиные, во всем саду была прочищена только одна неширокая аллея, украшенная лишь сухими веточками да растоптанными лягушками, и вся теперешняя жизнь, скромная и тихая, ютилась в одном уголке. Там, возле самого дома, желтел посыпанный песок, пестрели кудрявые клумбы, осыпанные разноцветными цветами, стоял зеленый деревянный стол, на котором в хорошую погоду летом пили чай и обедали, и весь этот маленький уголок теплел простою мирной жизнью, не сливаясь с угрюмой красотой обширного за-

пустелого места, предоставленного естественному разрушению и неизбежному исчезновению.

Когда дом скрылся в зелени и вокруг Лиды и Санина встали одни молчаливые, неподвижные и задумчивые, как живые существа, старые деревья, Санин вдруг обнял Лиду за талию и странным, не то ласковым, не то зловещим голосом сказал:

— А ты красавицей выросла!.. Счастлив будет тот мужчина, которого ты первого полюбишь...

Горячая струйка пробежала от его мускулистой, точно железной руки по гибкому и нежному телу Лиды. Она смутилась, вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась, точно почувствовав приближение невидимого зверя.

Они уже вышли на самый берег реки, где пахло сыростью и водой, задумчиво раскачивалась островерхая осока и открывался другой берег, с далекими потемневшими полями, глубоким теплым небом и бледными искрами первых звезд.

Санин отошел от Лиды, зачем-то взялся обеими руками за толстый сухой сук дерева и, с треском отломив его, бросил в воду. Всколыхнулись и побежали во все стороны плавные круги, и, точно приветствуя Санина как своего, торопливо закланялась прибережная осока.

II

Было около шести часов. Солнце светило ярко, но от сада уже опять надвигалась мягкая зеленоватая тень. Свет, тишина и тепло чутко стояли в воздухе. Марья Ивановна варила варенье, и под зеленой липой вкусно и крепко пахло кипящим сахаром и малиной.

Санин с самого утра возился над клумбами, стараясь поднять поникшие от зноя и пыли цветы.

— Ты бы бурьян раньше повыдергал, — посоветовала Марья Ивановна, поглядывая на него сквозь синеватую дрожащую дымку жаровни. — Ты прикажи Груньке, она тебе и сделает...

Санин поднял потное и веселое лицо.

— Зачем, — сказал он, встряхивая волосами, прилипшими ко лбу, — пусть себе растет, я всякую зелень люблю.

— Чудак ты! — добродушно пожимая плечами, возразила мать, но почему-то ей было очень приятно то, что он сказал.

— Сами вы все чудаки! — ответил Санин тоном полного убеждения, потом пошел в дом мыть руки, вернулся и сел у стола, удобно и спокойно расположившись в плетеном кресле.

Ему было хорошо, легко и радостно. Зелень, солнце, голубое небо таким ярким лучом входили в его душу, что вся она раскрывалась им навстречу в ощущении полного счастья. Большие города, с их торопливым шумом и суетливой цепкой жизнью, опротивели ему. Вокруг были солнце и свобода, а будущее не заботило его, потому что он готов был принять от жизни все, что она могла дать ему.

Санин жмурился и потягивался, с глубоким наслаждением вытягивая и напрягая свои здоровые, сильные мускулы.

Веяло тихой и мягкой прохладой, и казалось, что весь сад вздыхает кротко и глубоко. Воробьи чирикали где-то, и близко и далеко, воровато и торопливо переговариваясь о своей маленькой, страшно важной, но никому не понятной жизни; а пестрый фокстерьер Милль, высунув красный язык и подняв одно ухо, снисходительно слушал их из гущи свежей зеленой травы. Листья тихо шелестели над головой, а их круглые тени беззвучно шевелились на ровном песке дорожки.

Марью Ивановну болезненно раздражало спокойствие сына. Как и всех своих детей, она очень любила его, но именно потому у нее кипело сердце и ей хотелось возмутить его, задеть его самолюбие, оскорбить — лишь бы заставить придать цену ее словам и ее понятию о жизни. Каждое мгновение своего долгого существования она, как муравей, зарывшийся в песке, неустанно копошилась над созданием хрупкого, рассыпчатого

здания своего домашнего благосостояния. Это скучное, длинное и однообразное здание, похожее и на казарму, и на больницу, составлялось из мельчайших кирпичиков, которые ей, как бездарному архитектору, казались украшением жизни, а на самом деле то стесняли, то раздражали, то пугали и всегда заботили ее до тоски. Но все-таки она думала, что иначе жить нельзя.

— Ну что ж... так и дальше будет? — спросила она, поджав губы и притворно внимательно глядя в таз с вареньем.

— Как — дальше? — спросил Санин и чихнул.

Марье Ивановне показалось, что и чихнул он нарочно, чтобы ее обидеть, и хотя это было очевидно нелепо, она обиделась и надулась.

— А хорошо у вас тут! — мечтательно сказал Санин.

— Недурно... — считая нужным сердиться, сдержанно ответила Марья Ивановна, но ей было очень приятно, что сын похвалил дом и сад, с которыми она сжилась, как с родными милыми существами.

Санин посмотрел на нее и задумчиво сказал:

— А если бы вы не приставали ко мне со всякими пустяками, то еще лучше было бы.

Незлобивый голос, которым это было сказано, противоречил обидным словам, и Марья Ивановна не знала, сердиться ей или смеяться.

— Как посмотрю я на тебя, — с досадой сказала она, — и в детстве ты был какой-то ненормальный, а теперь...

— А теперь? — спросил Санин так весело, точно ожидал услышать что-то очень приятное и интересное.

— А теперь и совсем хорош! — колко ответила Марья Ивановна и махнула ложкой.

— Ну тем и лучше! — усмехнулся Санин и, помолчав, прибавил: — А вот и Новиков идет.

От дома шел высокий, красивый и белокурый человек. Его красная шелковая рубаха, плотно обтягивающая немного пухлое, но рослое и красивое тело, ярко вспыхивала красными огоньками под солнечными пятнами, а голубые глаза смотрели ласково и лениво.

— А вы все ссоритесь! — таким же ленивым и ласковым голосом протянул он еще издали. — И о чем, ей-богу!..

— Да вот, мама находит, что мне больше шел бы греческий нос, а я нахожу, что какой есть, и слава богу!

Санин сбоку посмотрел на свой нос, засмеялся и пожал пухлую широкую ладонь Новикова.

— Ну, еще что! — с досадой отозвалась Марья Ивановна.

Новиков громко и весело засмеялся, и круглое мягкое эхо добродушно захохотало в зеленой чаше, точно кто-то добрый и тихий радовался там его веселью.

— Ну, я са-ам знаю... все о твоей судьбе хлопоты идут!

— Вот поди ж ты! — с комическим недоумением сказал Санин.

— Ну, так тебе и надо!

— Эге! — вскрикнул Санин. — Если вы за меня в два голоса приметесь, так я и сбежать могу!

— Я сама, кажется, скоро от вас сбегу! — с неожиданной и, больше всего для нее самой, неприятной злобой проговорила Марья Ивановна, рывком дернула таз с жаровни и пошла в дом, не глядя ни на кого. Пестрый Милль выскочил из травы, поднял оба уха и вопросительно посмотрел ей вслед. Потом почесал носом переднюю лапу, опять внимательно посмотрел на дом и побежал куда-то вглубь сада по своим делам.

— Папиросы у тебя есть? — спросил Санин, очень довольный тем, что мать ушла.

Новиков достал портсигар, лениво изогнув назад свое крупное спокойное тело.

— Напрасно ты ее дразнишь, — с ласковой укоризною протянул он, — женщина она старая...

— Чем я ее дразню?

— Да вот...

— Что ж «вот»?.. Она сама ко мне лезет. Я, брат, никогда от людей ничего не требовал, пусть и они оставят меня в покое...

Они помолчали.

— Ну, как живешь, доктор? — спросил Санин, внимательно следя за изящно-прихотливыми узорами табачного дыма, нежно свивавшегося в чистом воздухе над его головой.

Новиков, думая о другом, ответил не сразу.

— Плохо...

— Что так?

— Да так, вообще... Скучно. Городишко осточертел по самое горло, делать нечего.

— Это тебе-то делать нечего? А сам жаловался, что вздохнуть некогда.

— Я не о том говорю... Нельзя же вечно только лечить да лечить. Есть же и другая жизнь.

— А кто тебе мешает жить и другой жизнью?

— Ну, это вопрос сложный!

— Чем же сложный?.. И чего тебе еще нужно: человек ты молодой, красивый, здоровый.

— Этого, оказывается, мало! — с добродушной иронией возразил Новиков.

— Как тебе сказать, — улыбнулся Санин, — этого, пожалуй, даже много...

— А мне не хватает! — засмеялся Новиков; по смеху его было слышно, что мнение Санина о его красоте, силе и здоровье было ему приятно и что он слегка смущен, точно барышня на смотрах.

— Тебе не хватает одного, — задумчиво сказал Санин.

— Чего же?

— Взгляда настоящего на жизнь... Ты вот тяготишься однообразием своей жизни, а позови тебя кто-нибудь бросить все и пойти куда глаза глядят, ты испугаешься.

— Куда? В босяки? Хм!..

— А хоть бы и в босяки!.. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю: вот человек, который при случае способен за какую-нибудь конституцию в Российской империи сесть на всю жизнь в Шлиссельбург, лишиться всяких прав, свободы, всего... А казалось бы, что ему конституция?..

А когда речь идет о том, чтобы перевернуть надоевшую собственную жизнь и пойти искать интереса и смысла на сторону, сейчас же у него возникает вопрос: а чем жить, а не пропаду ли я, здоровый и сильный человек, если лишусь своего жалованья, а с ним вместе сливок к утреннему чаю, шелковой рубашки и воротничков?.. Странно, ей-богу!

— Ничего тут странного нет... Там дело идейное, а тут...

— Что — тут?

— Да... как бы это выразиться... — Новиков пощелкал пальцами.

— Вот видишь, как ты рассуждаешь! — перебил Санин. — Сейчас у тебя эти подразделения!.. Ведь не поверю же я, что тебя больше гложет тоска по конституции, чем по смыслу и интересу в собственной твоей жизни, а ты...

— Ну это еще вопрос. Может, и больше!

Санин с досадой махнул рукой:

— Оставь, пожалуйста! Если тебе будут резать палец, тебе будет больнее, чем если палец будут резать у любого другого русского обывателя... Это факт!

— Или цинизм! — постарался Новиков сказать язвительно, но вышло только смешливо.

— Пусть так. Но это правда. И теперь, хотя не только в России, но и во многих странах света нет не только конституции, но даже и намека на нее, ты тоскуешь потому, что твоя собственная жизнь тебя не ласкает, а во все не по конституции! И если будешь говорить другое, то соврешь. И знаешь, что я тебе скажу, — с веселым огоньком в светлых глазах перебил сам себя Санин, — и теперь ты тоскуешь не оттого, что жизнь вообще тебя не удовлетворяет, а оттого, что Лида тебя до сих пор не полюбила! Ведь правда?

— Ну это ты уже глупости говоришь! — вскрикнул Новиков, вспыхивая, как его красная рубашка, и на его добрых спокойных глазах выступили слезы самого наивного и искреннего смущения.

— Какие глупости, когда ты из-за Лиды света белого не видишь!.. Да у тебя от головы до пят так и написано одно желание — взять ее. А ты говоришь — глупости!

Новиков странно передернулся и торопливо заходил по аллее. Если бы это говорил не брат Лиды, он, может быть, тоже смутился бы, но ему было так странно слышать именно от Санина такие слова о Лиде, что он даже не понял его хорошенько.

— Знаешь что, — пробормотал он, — ты или рисуешься, или...

— Что? — улыбаясь, спросил Санин.

Новиков молча пожал плечами, глядя в сторону. Другой вывод заключался в определении Санина как дурного, безнравственного, как понимал это Новиков, человека. Но этого он не мог сказать Санину, потому что всегда, еще с гимназии, чувствовал к нему искреннюю любовь. Выходило так, что ему, Новикову, нравился дрянной человек, а этого, конечно, быть не могло. И оттого в голове Новикова сделалось смутно и неприятно. Напоминание о Лиде было ему больно и стыдно, но так как Лиду он обожал и сам молился на свое большое и глубокое чувство к ней, то не мог сердиться на Санина за это напоминание: оно было и мучительно, и в то же время жгуче приятно. Точно кто-то горячей рукой взялся за сердце и тихонько пожимал его.

Санин молчал и улыбался, и улыбка у него была внимательная и ласковая.

— Ну придумай определение, а я подожду, — сказал он, — мне не к спеху.

Новиков все ходил по дорожке, и видно было, что он искренно мучится. Прибежал Милль, озабоченно посмотрел вокруг и стал тереться о колени Санина. Он, очевидно, был рад чему-то и хотел, чтобы все знали о его радости.

— Славная ты моя собачка! — сказал Санин, глядя его.

Новиков с трудом удерживался, чтобы не заспорить снова, но боялся, чтобы Санин опять не коснулся того,

что больше всего на свете его самого интересовало. А между тем все другое, что приходило ему в голову, казалось пустым, неинтересным и мертвым при воспоминании о Лиде.

— А... а где Лидия Петровна? — машинально спросил он именно то, что хотел спросить, но чего спросить не решался.

— Лида? А где ей быть... На бульваре с офицерами гуляет. В это время все барышни у нас на бульваре.

С тоскливым уколом смутной ревности Новиков возразил:

— Лидия Петровна... как она, такая умная, развитая, проводит время с этими чугунолобыми господами...

— Э, друг! — усмехнулся Санин. — Лида молода, красива и здорова, как и ты... и даже больше, потому что у нее есть то, чего у тебя нет: жадность ко всему!.. Ей хочется все изведать, все почувствовать... Да вот и она сама... Ты только посмотри на нее и пойми!.. Красота-то какая!

Лида была меньше ростом и гораздо красивее брата. В ней поражали тонкое и обаятельное сплетение изящной нежности и ловкой силы, страстно горделивое выражение затемненных глаз и мягкий звучный голос, которым она гордилась и играла. Она медленно, слегка волнуясь на ходу всем телом, как молодая красивая кобыла, спустилась с крыльца, ловко и уверенно подбирая свое длинное серое платье. Путаюсь шпорами и преувеличенно ими позванивая, за нею шли два молодых красивых офицера в блестящих сапогах и туго обтянутых рейтузах.

— Это кто же красота, я? — спросила Лида, наполняя весь сад своею красотой, женской свежестью и звучным голосом. Она протянула Новикову руку и покосилась на брата, к которому все не могла приноровиться и понять, когда он смеется, а когда говорит серьезно.

Новиков крепко пожал ее руку и так густо покраснел, что на глазах у него выступили слезы. Но Лида этого не заметила, она уже давно привыкла чувствовать

на себе его робкие благоговейные взгляды, и они не волновали ее.

— Добрый вечер, Владимир Петрович! — весело и звонко щелкая шпорами и весь изгибаясь, как горячий веселый жеребец, сказал тот офицер, который был старше, светлее волосами и красивее.

Санин уже знал и то, что его фамилия была Зарудин, и то, что он ротмистр, и то, что он настойчиво и упрямо добивается любви Лиды. Другой офицер был поручик Танаров, который считал Зарудина образцом офицера и старался во всем подражать ему. Но он был молчалив, не очень ловок и хуже Зарудина лицом.

Танаров также щелкнул шпорами, но ничего не сказал.

— Ты! — слишком серьезно ответил Санин сестре.

— Конечно, конечно... красота, и прибавь — неопи-санная! — засмеялась Лида и бросилась в кресло, скользнув взглядом по лицу брата. Подняв обе руки к голове, отчего выпукло обрисовалась высокая упругая грудь, она стала откалывать шляпу, упустила в песок длинную, как жало, булавку и запутала в волосах и шпильках вуаль. — Андрей Павлович, помогите!.. — жалобно и кокетливо обратилась она к молчаливому поручику.

— Да, красота! — задумчиво повторил Санин, не спуская с нее глаз.

Лида снова покосилась на него недоверчивым взглядом.

— Все мы здесь красавцы, — сказала она.

— Мы что, — блестя белыми зубами, засмеялся Зарудин, — мы только убогая декорация, на которой еще ярче, еще пышнее обрисовывается ваша красота!

— А вы красноречивы! — удивился Санин, и в его голосе неуловимо прозвучал оттенок насмешки.

— Лидия Петровна хоть кого сделает красноречивым! — заметил молчаливый Танаров, стараясь отцепить шляпку Лиды и дергая ее за волосы, отчего она и сердилась, и смеялась.

— А и вы тоже красноречивы! — удивленно протянул Санин.

— Оставь их, — с удовольствием, неискренно шепнул Новиков.

Лида, прищурившись, посмотрела прямо в глаза брату, и по ее потемневшим зрачкам Санин ясно прочел: «Не думай, что я не вижу, кто это такие! Но я так хочу! Это мне весело! Я не глупее тебя и знаю, что делаю!»

Санин улыбнулся ей.

Шляпка наконец была отцеплена, и Танаров торжественно перенес ее на стол.

— Ах, какой вы, Андрей Павлович! — мгновенно меняя взгляд, опять жалобно и кокетливо воскликнула Лида. — Вы мне всю прическу испортили... Теперь надо идти в дом...

— Я этого никогда не прощу себе! — смущенно пробормотал Танаров.

Лида встала, подобрала платье и, возбуждающе чувствуя на себе взгляды мужчин, безотчетно смеясь и изгибаясь, взбежала на крыльцо.

Когда она ушла, все мужчины почувствовали себя вольнее и как-то сразу опустили и осели, утратив ту нервную напряженность движений, которую все мужчины принимают в присутствии молодой и красивой женщины. Зарудин вынул папиросу и, с наслаждением закуривая, заговорил. Слышно было, что он говорит только по привычке всегда поддерживать разговор, а думает совсем о другом.

— Сегодня я уговаривал Лидию Петровну бросить все и учиться петь серьезно. С ее голосом карьера обеспечена!

— Нечего сказать, хорошая дорога! — угрюмо и глядя в сторону, возразил Новиков.

— Чем же плохая? — с искренним удивлением спросил Зарудин и даже папиросу опустил.

— Да что такое артистка?.. Та же публичная женщина! — с внезапным раздражением ответил Новиков.

Его мучило и волновало то, что он говорил, потому что говорила в нем ревность, страдающая при мысли,

что женщина, тело которой он любит, будет выступать перед другими мужчинами, быть может, в костюмах вызывающих, обнажающих это тело, делающих его еще грешнее, заманчивее.

— Слишком сильно сказано, — приподнял брови Зарудин.

Новиков посмотрел на него с ненавистью: в его представлении Зарудин был именно одним из тех мужчин, которые хотят любимой им женщины, и его мучительно раздражало, что Зарудин красив.

— Ничуть не сильно... Выходить чуть не голой на сцену! Ломаться, изображать сцены сладострастия под взглядами тех, кто завтра уйдет от нее так же, как уходят от публичной женщины, заплатив деньги. Нечего сказать, хорошо!

— Друг мой, — возразил Санин, — каждой женщине приятно, чтобы любовались ее телом, прежде всего.

Новиков досадливо вздернул плечами:

— Что ты за пошлости говоришь!

— Черт их знает, пошлости это или нет, а только это правда. А Лида была бы эффектна на сцене, я бы посмотрел.

Хотя при этих словах у всех шевельнулось инстинктивное жадное любопытство, всем стало неловко. И Зарудин, считая себя умнее и находчивее других, счел своим долгом вывести всех из неловкого положения.

— А что же, по-вашему, женщине делать?.. Замуж выйти?.. На курсы ехать и погубить свой талант?.. Ведь это было бы преступлением против природы, наградившей ее своими лучшими дарами!

— Ух, — с нескрываемой насмешкой сказал Санин, — а ведь и в самом деле! Как это преступление мне самому в голову не пришло!

Новиков злорадно засмеялся, но из приличия возразил Зарудину:

— Почему же преступление: хорошая мать или хороший врач в тысячу раз полезнее всякой актрисы!

— Ну-у! — с негодованием протянул Танаров.

— И неужели вам не скучно все эти глупости говорить? — спросил Санин.

Зарудин поперхнулся начатым возражением, и всем вдруг показалось, что говорить об этом действительно скучно и бесполезно. Но тем не менее все обиделись. Стало тихо и совсем скучно.

Лида и Марья Ивановна показались на балконе. Лида расслышала последнюю фразу брата, но не поняла, в чем дело.

— Скоро же вы до скуки договорились! — весело заметила она. — Пойдемте к реке. Там хорошо теперь...

И, проходя мимо мужчин, она чуть-чуть потянулась всем телом, и глаза у нее на мгновение стали загадочны и темны, что-то обещая, что-то говоря.

— Прогуляйтесь до ужина, — сказала Марья Ивановна.

— С наслаждением, — согласился Зарудин, шелкая шпорами и подавая Лиде руку.

— А мне, надеюсь, можно с вами? — стараясь говорить ядовито, отчего у него все лицо приняло плаксивое выражение, спросил Новиков.

— А кто же вам мешает? — через плечо, смеясь, спросила Лида.

— Иди, брат, иди, — посоветовал Санин, — и я бы пошел, если бы, к сожаленью, она не была слишком уверена в том, что я ей брат!

Лида странно вздрогнула и насторожилась. Потом быстро окинула брата глазами и засмеялась коротко и нервно. Марью Ивановну покорило.

— Зачем ты эти глупости говоришь? — грубо спросила она, когда Лида ушла. — Оригинальничаете все!..

— И не думаю, — возразил Санин.

Марья Ивановна посмотрела на него с недоумением. Она совершенно не могла понять сына, не знала, когда он шутит, когда говорит серьезно, что думает и чувствует тогда, когда все другие, понятные ей люди думают и чувствуют то же или почти то же, что и она сама. По ее понятиям выходило так, что человек дол-

жен чувствовать, говорить и делать всегда то, что говорят и делают все люди, стоящие с ним наравне по образованию, состоянию и социальному положению. Для нее было естественным, что люди должны быть не просто людьми, со всеми индивидуальными особенностями, вложенными в них природой, а людьми, влитыми в известную общую мерку. Окружающая жизнь укрепляла ее в этом понятии: к этому была направлена вся воспитательная деятельность людей, и в этом смысле больше всего отделялись интеллигентные от неинтеллигентных: вторые могли сохранять свою индивидуальность и за это презирались другими, а первые только распадались на группы, соответственно получаемому образованию. Убеждения их всегда отвечали не их личным качествам, а их положению: всякий студент был революционер, всякий чиновник буржуазен, всякий артист свободомыслящ, всякий офицер с преувеличенным понятием о внешнем благородстве, и когда вдруг студент оказывался консерватором или офицер анархистом, то это уже казалось странным, а иногда и неприятным. Санин по своему происхождению и образованию должен был быть совсем не тем, чем был, и как Лида, Новиков и все, кто с ним сталкивался, так и Марья Ивановна смотрела на него с неприятным ощущением обманутого ожидания. С чуткостью матери Марья Ивановна замечала то впечатление, которое производил сын на всех окружающих, и оно было ей больно.

Санин видел это. Ему очень хотелось успокоить мать, но он не знал, как это сделать. Сначала ему даже пришло в голову притвориться и высказать матери самые успокоительные мысли, но он ничего не мог придумать, засмеялся, встал и ушел в дом. Там он лег на кровать и стал думать о том, что люди хотят весь мир обратить в монастырскую казарму, с одним уставом для всех, уставом, ясно основанным на уничтожении всякой личности и подчинении ее могучей власти какого-то таинственного старчества. Он начал было размышлять над судьбою и ролью христианства, но это

показалось ему так скучно, что он незаметно заснул и проспал до глубокого вечера.

Марья Ивановна, проводив его глазами, тяжело вздохнула и задумалась тоже. Думала она о том, что Зарудин явно ухаживает за Лидой, и ей хотелось, чтобы это было серьезно.

«Лидочке уже двадцать лет, — тихо шли ее мысли. — Зарудин, кажется, хороший человек. Говорят, он в этом году получит эскадрон... Только долгов за ним не оберешься! И к чему я этот сон отвратительный видела... Ведь сама знаю, что чепуха, а из головы нейдет!»

Этот сон, который приснился Марье Ивановне в тот самый день, когда Зарудин был у них в доме первый раз, почему-то действительно мучил ее. А снилось ей, что Лида, в белом платье, шла по полю, покрытому травами и цветами.

Марья Ивановна села в кресло, по-старушечьи подперла голову рукой и долго смотрела в постепенно темнеющее небо. Маленькие, но тягучие и докучные мысли ползли у нее в голове, и ей было грустно и страшно чего-то.

III

Когда уже совсем стемнело, вернулись гулявшие. Из глубины сада, мягко затонувшего в темноте, послышались их оживленные, яркие голоса.

Веселая раскрасневшаяся Лида подбежала к Марье Ивановне. От нее пахло раздражающе свежим и молодым запахом реки и красавицы-женщины, возбужденной до крайнего напряжения обществом молодых, ей нравящихся, ею возбужденных мужчин.

— Ужинать, мама, ужинать! — затормошила она ласково улыбающуюся ей мать. — А пока Виктор Сергеевич нам споет.

Марья Ивановна пошла распорядиться ужином и, уходя, думала уже о том, что судьба такой интересной,

красивой, здоровой и понятной ей девушки, как Лида, не может не быть счастливой.

Зарудин и Танаров ушли в зал, к роялю, а Лида села в стоявшее на балконе кресло-качалку и потянулась гибко и страстно.

Новиков молча ходил по скрипящим доскам балкона, искоса взглядывая на лицо, высокую грудь и вытянутые из-под платья стройные ноги в черных чулках и желтых туфельках, но она не замечала ни его взглядов, ни его самого, вся охваченная могучим и обаятельным ощущением первой страсти. Она совсем закрыла глаза и загадочно улыбалась сама себе.

В душе Новикова была обычная борьба: он любил Лиду, но в ее чувстве не мог разобраться. Иногда ему казалось, что она любит его, иногда — нет. И тогда, когда он думал, что «да», ему казалось вполне возможным, легким и прекрасным, что ее молодое, стройное и чистое тело сладострастно и полно будет принадлежать ему. А когда думал, что «нет», та же мысль казалась ему бесстыдной и гнусной, и тогда он ловил себя на чувственности и называл себя низменным, дрянным человеком, недостойным Лиды.

Новиков шагал по доскам и загадывал:

— Если ступлю правой ногой на последнюю доску, то «да» и надо объясниться, а если левой, то...

Ему не хотелось думать, что будет тогда.

На последнюю доску он ступил левой ногой, облился холодным потом и сейчас же сказал себе:

— Фу, какие глупости! Точно старая баба... Ну... Раз, два, три... со словом «три» прямо подойду и скажу. Как я скажу?... Все равно. Ну, раз... два... три... Нет, до трех раз... Раз, два, три... раз, два...

Голова у него горела, во рту пересохло, и сердце колотилось так, что ноги дрожали.

— Да будет вам топтаться! — с досадой сказала Лида, открывая глаза. — Слушать мешаете!

Только теперь Новиков заметил, что Зарудин поет.

Молодой офицер пел старинный романс:

Я вас любил, любовь моя, быть может,
В моей груди утасла не совсем...

Пел он недурно, но так, как поют люди малоразвитые: заменяя выражение криком и замиранием голоса. И пение Зарудина показалось чрезвычайно неприятным Новикову.

— Это что же, собственного сочинения? — спросил он с непривычным чувством злобы и раздражения.

— Нет... Не мешайте! Сидите смиренно! — капризно приказала Лида. — Если музыку не любите, так на луну смотрите.

Совершенно круглая и еще красная луна действительно медленно и таинственно выглянула из-за черных верхушек сада. Ее легкий неуловимый свет заскользил по ступенькам, по платью Лиды и по ее улыбающемуся собственным мыслям лицу. Тени в саду сгустились и стали черными и глубокими, как в лесу.

Новиков вздохнул.

— Лучше уж на вас, — неловко сказал он и подумал: «Какие я пошлости способен говорить!»

Лида засмеялась:

— Фу, какой дубовый комплимент!

— Я не умею комплиментов говорить, — угрюмо возразил Новиков.

— Да замолчите... слушайте же! — досадливо дернула плечами Лида.

Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем!..

Звуки рояля звонкими кристальными всплесками отдавались в зеленом сыром саду. Лунный свет все яснел, а тени становились все глубже и черней. Внизу, по траве, тихо прошел Санин, сел под липой, хотел закурить папиросу, но раздумал и сидел неподвижно, точно зачарованный тишиной вечера, которую не нарушали, а как-то дополняли звуки рояля и молодого, страстно поющего голоса.

— Лидия Петровна! — вдруг выпалил Новиков, как будто сразу стало очевидно, что нельзя потерять этого момента.

— Что? — машинально спросила Лида, глядя в сад, на луну и на черные веточки, чеканящиеся на ее круглом ярком диске.

— Я уже давно жду... хочу поговорить... — срывающимся голосом продолжал Новиков.

Санин повел головой и прислушался.

— О чем? — рассеянно переспросила Лида.

Зарудин кончил один, помолчал и запел другой романс. Он думал, что у него редкостно красивый голос, и любил петь.

Новиков почувствовал, что краснеет и бледнеет пятнами и что ему нехорошо до головокружения.

— Я, видите ли... Лидия Петровна... хотите быть моей... женой... — заплетаясь языком и чувствуя, что совсем это не так говорится и не то чувствуется в такие минуты, и еще прежде, чем он договорил, как-то само собой стало ясно, что «нет» и что сейчас произойдет что-то постыдное, глупое, непереносимо смешное.

Лида машинально переспросила:

— Чьей? — и вдруг вспыхнула, встала, хотела что-то сказать, но не сказала и в замешательстве отвернулась. Луна смотрела прямо на нее.

— Я вас люблю... — продолжал мямлить Новиков, чувствуя, что луна перестала светить, что в саду душно и все валится куда-то в безнадежную ужасную пропасть. — Я... говорить не умею, но это глупости, и... я очень вас люблю...

«При чем тут очень... точно я о сливочном мороженом говорю...» — вдруг подумал он и замолчал.

Лида нервно дергала листик, попавший ей в руки. Она растерялась, потому что это было совершенно неожиданно, не нужно и создавало печальную, непоправимую неловкость между нею и Новиковым, к которому она издавна привыкла почти как к родному и которого немного любила.

— Я не знаю, право... Я не думала вовсе...

Новиков почувствовал, как с тупой болью упало куда-то вниз его сердце, побледнел, встал и взял фуражку.

— До свиданья! — сказал он, сам не слыша своего голоса. Губы у него странно кривились в нелепую и неуместную дрожащую улыбку.

— Куда же вы? До свиданья! — растерянно отвечала Лида, протягивая руку и стараясь беспечно улыбаться.

Новиков быстро пожал ей руку и, не надевая фуражки, крупными шагами пошел прямо по росистой траве в сад. Зайдя в первую тень, он вдруг остановился и с силой схватил себя за волосы.

— Боже мой, боже... за что я такой несчастный!.. Застрелиться... Все это пустяки, а застрелиться... — вихрем и бессвязно пронеслось у него в голове, и он почувствовал себя самым несчастным, опозоренным и смешным человеком в мире.

Санин хотел было его окликнуть, но раздумал и улыбнулся. Ему было смешно, что Новиков дергает себя за волосы и чуть ли даже не плачет оттого, что женщина, лицо которой, плечи, груди и ноги нравились ему, не хочет отдаться.

И еще Санину было приятно, что красивая сестра не любит Новикова.

Лида несколько минут неподвижно простояла на том же месте, и Санин с острым любопытством следил за ее смутно озаренным луною белым силуэтом.

Из уже освещенных лампой желтых дверей дома вышел на балкон Зарудин, и Санину ясно было слышно осторожное позвякивание его шпор. В зале Танаров тихо и грустно играл старый вальс, с расплывающимися кругообразными томными звуками.

Зарудин тихо подошел к Лиде и мягким ловким движением обнял ее за талию, и Санину было видно, как два силуэта легко слились в один, странно колеблющийся в лунном тумане.

— О чем вы так задумались? — тихо шепнул Зарудин, трогая губами ее маленькое свежее ухо и блестя глазами.

У Лиды сладко и жутко поплыла голова. Как и всегда, когда она обнималась с Зарудиным, ее охватило странное чувство: она знала, что Зарудин бесконечно ниже ее по уму и развитию, что она никогда не может быть подчинена ему; но в то же время было приятно и жутко позволять эти прикосновения сильному, большому, красивому мужчине, как будто заглядывая в бездонную, таинственную пропасть с дерзкой мыслью: а вдруг возьму и брошусь... захочу и брошусь!

— Увидят... — чуть слышно прошептала она, не прижимаясь и не отдаляясь и еще больше дразня и возбуждая его этой отдающейся пассивностью.

— Одно слово, — еще прижимаясь к ней и весь заливаясь горячей возбужденной кровью, продолжал Зарудин, — придете?

Лида дрожала. Этот вопрос он предлагал ей уже не в первый раз, и всегда в ней что-то начинало томиться и дрожать, делая ее слабой и безвольной.

— Зачем? — глухо спросила она, глядя на луну широко открытыми и налитыми какой-то влагой глазами.

Зарудин не мог и не хотел ответить ей правды, хотя, как все легко сходящиеся с женщинами мужчины, в глубине души был уверен, что Лида и сама хочет, знает и только боится.

— Зачем... Да посмотреть на вас свободно, перекинуться словом. Ведь это пытка... вы меня мучите... Лидия... придете? — страстно придавливая к своим дрожащим ногам ее выпуклое, упругое и теплое бедро, повторил он.

И от соприкосновения их ног, жгучего, как раскаленное железо, еще гуще поднялся вокруг теплый, душный, как сон, туман. Все гибкое, нежное и стройное тело Лиды замирало, изгибалось и тянулось к нему. Ей было мучительно хорошо и страшно. Вокруг все странно и непонятно изменилось: луна была не луна и смотрела близко-близко, через переплет террасы, точно висела над самой ярко освещенной лужайкой; сад, не тот, который она знала, а какой-то другой, темный и таинст-

венный, придвинулся и стал вокруг. Голова медленно и тягуче кружилась. Изгибаясь со странной ленью, она освободилась у него из рук и сразу пересохшими, воспаленными губами с трудом прошептала:

— Хорошо...

И, пошатываясь, через силу ушла в дом, чувствуя, как что-то страшное, неизбежное и привлекательное тянет ее куда-то в бездну.

— Это глупости... это не то... я только шучу... Просто мне любопытно, забавно... — старалась она уверить себя, стоя в своей комнате перед темным зеркалом и видя только свой черный силуэт на отражающейся в нем освещенной двери в столовую. Она медленно подняла обе руки к голове, заломила их и страстно потянулась, следя за движениями своей гибкой тонкой талии и широких выпуклых бедер.

Зарудин, оставшись один, вздрогнул на красивых, плотно обтянутых ногах, потянулся, страстно зажмурившись, и, скаля зубы под светлыми усами, повел плечами. Он был привычно счастлив и чувствовал, что впереди ему предстоит еще больше счастья и наслаждения. Лида в момент, когда она отдастся ему, рисовалась так жгуче и необыкновенно сладострастно хороша, что ему было физически больно от страсти.

Сначала, когда он начал за ней ухаживать, и даже тогда, когда она уже позволила ему обнять и поцеловать себя, Зарудин все-таки боялся ее. В ее потемневших глазах было что-то незнакомое и непонятное ему, как будто, позволяя ласкать себя, она втайне презирала его. Она казалась ему такой умной, такой непохожей на всех тех девушек и женщин, лаская которых он горделиво сознавал свое превосходство, такой гордой, что, обнимая ее, он замирал, точно ожидая получить пощечину, и как-то боялся думать о полном обладании ею. Иногда казалось, будто она играет им и его положение просто глупо и смешно. Но после сегодняшнего обещания, данного знакомым Зарудину по другим женщинам странным, срывающимся и безвольным голосом,

он вдруг неожиданно почувствовал свою силу и внезапную близость цели и понял, что уже не может быть иначе, чем так, как хочет он. И к сладкому томительно-му чувству сладострастного ожидания тонко и бессознательно стал примешиваться оттенок злорадности, что эта гордая, умная, чистая и начитанная девушка будет лежать под ним, как и всякая другая, и он так же будет делать с нею что захочет, как и со всеми другими. И острая жестокая мысль стала смутно представлять ему вычурно унижающие сладострастные сцены, в которых голое тело, распущенные волосы и умные глаза Лиды сплетались в какую-то дикую вакханалию сладострастной жестокости. Он вдруг ясно увидел ее на полу, услышал свист хлыста, увидел розовую полосу на голом нежном покорном теле и, вздрогнув, пошатнулся от удара крови в голову. Золотые круги сверкнули у него в глазах.

Было даже физически невыносимо думать об этом. Зарудин дрожащими пальцами закурил папиросу, еще раз дрогнул на сильных ногах и пошел в комнаты.

Санин, который не слышал, но увидел и понял все, с чувством, похожим на ревность, пошел за ним.

«И везет же вот таким животным! — подумал он. — Черт знает что такое! Лида и он!»

Ужинали в комнатах. Марья Ивановна была не в духе. Танаров, по обыкновению, молчал и мечтал о том, как было бы хорошо, если бы он был такой, как Зарудин, и его любила такая девушка, как Лида. И ему казалось, что он любил бы ее не так, как Зарудин, неспособный оценить такое счастье. Лида была бледна, молчалива и не смотрела ни на кого. Зарудин был весел и насторожен, как зверь на охоте, а Санин, как всегда, зевал, ел, пил много водки и нестерпимо, по-видимому, хотел спать. Но это не помешало ему после ужина заявить, что спать он не хочет и, в виде прогулки, пойдет проводить Зарудина.

Была уже совсем ночь, и луна плыла высоко. Санин и Зарудин почти молча дошли до квартиры офицера.

Санин всю дорогу посматривал на офицера и думал, не треснуть ли его по физиономии.

— Н-да, — заговорил он уже возле самого дома, — много есть на свете всякого сорта мерзавцев!

— То есть? — вопросительно и удивленно произнес Зарудин, высоко поднимая брови.

— Да так, вообще... А мерзавцы — самые занимательные люди...

— Что вы! — усмехнулся Зарудин.

— Конечно. На свете нет ничего скучнее честного человека... Что такое честный человек? Программа честности и добродетели давно всем известна, и в ней не может быть ничего нового... От этого старья в человеке исчезает всякое разнообразие, жизнь сводится в одну рамку добродетели, скучную и узкую. Не кради, не лги, не предай, не прелюбы сотвори... И главное, что все это в человеке сидит прочно: всякий человек и лжет, и предает, и «прелюбы» это самое творит по мере сил...

— Не всякий же! — снисходительно заметил Зарудин.

— Нет, всякий. Стоит только вдуматься в жизнь каждого человека, чтобы найти в ней, более или менее глубоко, грех... Предательство, например. В ту минуту, как мы отдаем кесарево кесарю, ложимся спокойно спать, садимся обедать, мы совершаем предательство...

— Что вы говорите! — невольно воскликнул Зарудин почти с возмущением.

— Конечно. Мы платим подати и отбываем повинности, значит мы предаем тысячи людей той самой войне и несправедливости, которыми возмущаемся. Мы ложимся спать, а не бежим спасать тех, кто в ту минуту погибает за нас, за наши идеи... мы съедаем лишний кусок, предавая голоду тех людей, о благе которых мы, если мы добродетельные люди, должны были пещись всю жизнь. И так далее. Это понятно!.. Другое дело мерзавец, настоящий откровенный мерзавец! Прежде всего, это человек совершенно искренний и естественный...

— Естественный?!

— Всенепременно. Он делает то, что для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не принадлежит, но которая хороша, он ее берет: видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, он ее возьмет силой или обманом. И это вполне естественно, потому что потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они — животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий и не страдания же идеал человеческих стремлений...

— Разумеется, — согласился Зарудин.

— Значит, в наслаждениях и есть цель жизни. Рай — синоним наслаждения абсолютного, и все так или иначе мечтают о рае на земле. И рай первоначально, говорят, и был на земле. Эта сказка о рае вовсе не вздор, а символ и мечта.

— Да, — заговорил, помолчав, Санин, — человеку от природы несвойственно воздержание, и самые искренние люди — это люди, не скрывающие своих вожделений... то есть те, которых в общежитии называют мерзавцами... Вот, например, вы...

Зарудин вздрогнул и отшатнулся.

— Вы, конечно, — продолжал Санин, притворяясь, что не замечает ничего, — самый лучший человек на свете. По крайней мере, в своих глазах. Ну признайтесь, встречали ли вы когда-нибудь человека лучше вас?

— Много... — нерешительно ответил Зарудин, который уже совершенно не понимал Санина и которому было решительно неизвестно, уместно ли теперь обидеться или нет.

— Назовите, — предложил Санин.

Зарудин недоумевающе пожал плечами.

— Ну вот, — весело подхватил Санин, — вы самый лучший человек, и я, конечно, самый лучший, а разве

нам с вами не хочется красть, лгать и «прелюбы» сотворить... прежде всего «прелюбы»?

Зарудин пожал плечами опять.

— Ори-ги-нально, — пробормотал он.

— Вы думаете? — с неуловимым оттенком обидного спросил Санин. — А я и не думал... Да, мерзавцы — самые искренние люди, притом и самые интересные, ибо пределов и границ человеческой мерзости даже и представить себе нельзя... Я мерзавцу с особенным удовольствием пожму руку.

Санин с необыкновенно открытым видом пожал руку Зарудину, глядя ему прямо в глаза, потом вдруг насутился и, уже совсем другим тоном пробормотав: «Прощайте, покойной ночи!» — ушел.

Зарудин несколько минут неподвижно простоял на месте, глядя вслед уходившему Санину. Он не знал, как принять слова Санина, и на душе у него было смутно и неприятно. Но сейчас же он вспомнил Лиду, усмехаясь, подумал, что Санин — брат Лиды, что он, в сущности, прав, и почувствовал к нему братскую приязнь и дружбу.

«Занимательный парень, черт возьми!» — подумал он самодовольно, точно Санин тоже до некоторой степени уже принадлежал ему. Потом он отворил калитку и через освещенный луною двор пошел к своему флигелю.

Санин вернулся домой, разделся, лег, укрылся, хотел читать «Так говорит Заратустра», которого нашел у Лиды, но с первых страниц ему стало досадно и скучно. Напыщенные образы не трогали его души. Он плюнул и, бросив книгу, моментально заснул.

IV

К жившему в том же городе отставному полковнику и помещику Николаю Егоровичу Сварожичу приехал его сын, студент-технолог.

Он был выслан из Москвы под надзор полиции как подозреваемый в участии в революционной организа-

Арцыбашев М.

А 88 Санин : роман / Михаил Арцыбашев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-14241-1

В начале XX века Михаил Арцыбашев был едва ли не самым известным писателем в России, и своей литературной славой он был обязан роману «Санин». Книга вышла в 1907 году и имела оглушительный успех у читателей. За Арцыбашевым закрепился статус «властителя дум» и борца с мертвыми нормами морали. Образ главного героя, призывавшего радоваться жизни, удовлетворяя свои «естественные желания», оказался на удивление созвучным времени. По всей России создавались кружки «санинцев» и лиги свободной любви, в то время как в критике вокруг романа велись ожесточенные споры между его сторонниками и противниками. В советские годы произведения Арцыбашева не публиковались, и его имя было незаслуженно забыто. Между тем творчество Арцыбашева, безусловно, являет собой одну из самых ярких страниц в литературе Серебряного века и будет интересно всем, кто увлекается историей русской культуры.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)1-44

Литературно-художественное издание

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ АРЦЫБАШЕВ
САНИН

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Габовой
Корректоры Юлия Теплова, Валентина Гончар
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 18.01.2018. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 15,5.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-AKB-22461-01-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/